



Ещё 35 лет
привычного
дела

Иллюстрация Бориса Алимона к повести В. Белова «Привычное дело».



«Привычное дело» из Вологды пришло в редакцию самым обычным образом, по почте. Фамилия Белов кому что говорила, знали, что писал стихи, написал несколько рассказов, ну в общем, литератор в самом начале творческого пути, когда никто еще не возьмет на себя смелость предрекать ему серьезную творческую биографию.

Так было в старой редакции «Севера» заведено, что входящую почту вскрывала и выборочно прочитывала секретарь, она же машинистка, Галя Иванова. Работала она в редакции давно и авторов оценивала по-своему, никто к ее оценкам всерьез не относился.

В тот полдень, когда она закончила читать «Привычное дело», все были удивлены: Галя плакала, сначала тихо, стесняясь, а потом — в голос. Это было сразу после финаль-

ных строчек повести, когда горе пластает Ивана Африканыча на могиле Катерины.

Нужно сказать, что наша Галя прошла серьезную жизненную школу, огонь, соленые воды и две медных трубы, и не отличалась избыточной сентиментальностью...

Так и состоялось в редакции первое впечатление от «Привычного дела».

Я редактировал эту повесть, это был 1965 год, и тогда же познакомился с автором, с Василием Ивановичем, который приехал специально в Петрозаводск, чтобы одобрить окончательный вариант для печати.

В первом номере за 1966 год повесть была напечатана. И стала для журнала своеобразной точкой отсчета требовательности к авторам, своеобразной творческой планкой — на долгие годы. И

если журнал наш более тридцати лет хвалили, в основном за прозу, впервые в нем опубликованную, — это тоже заслуга Белова.

35 лет прошло после первой публикации. А я, перечитывая многие страницы повести, и сегодня не могу сдержать улыбки (глава «На бревнах») и закипающих слез в финале. Хотя и моя биография не располагает к избыточной сентиментальности.

Но так уж устроены мы, русские люди. Ни революции, ни войны, ни репрессивный внутренний разбой не убили в нас душу живую. И научены мы долгой своей историей жить по-человечески, все преодолевая, включая и невозможность жить по-людски.

Привычное дело...

Стаислав ПАНКРАТОВ

ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО. (Из прошлого одной семьи).

Повесть. «Север» 1966 №1.

Вот так теперь уже 35 лет подряд в российской библиографии обозначается первая публикация повести Василия Ивановича Белова «Привычное дело».

Итак, и автору и редакции посчастливилось дожить до замечательного юбилея, 35-летия первой публикации классической русской повести, которую мы с полным правом называем одной из наших лучших публикаций за всю 60-летнюю историю журнала.

После этого началось триумфальное (не бойтесь торжественных слов, когда они соответствуют истине) шествие прекрасного произведения русской литературы — по городам и странам. Ниже, с чувством действительно глубокого удовлетворения, мы приводим названия книг и журналов, читатель которых имел радость встретиться с повестью Василия Ивановича Белова — глубоко русского писателя, уроженца Вологодского края...

Итак:

На русском языке

Привычное дело (Из прошлого одной семьи). Повесть. — «Север», Петрозаводск, 1966 г., №1.

На бревнах. Глава из повести «Привычное дело». — «Сельская жизнь», 1966.

За тремя волоками. Повесть и рассказы. — Москва, «Советский писатель», 1968.

Сельские повести. Посл. С.Залыгина. — Москва, Молодая гвардия, 1971.

Холмы. Повести, рассказы, очерки. Вст. статья Е.Носова — Москва, «Современник», 1973.

Утром в субботу. Повесть и рассказы. — Архангельск. Северо-Западное книжное изд., 1976.

Повести и рассказы. Посл. В.Ганичева. — Москва, Известия, 1980. (Библиотека «Дружбы народов»).

Избранные произведения в трех томах. — Москва, Современник, 1983.

Повести и рассказы. — Москва, Художественная литература, 1984.

Привычное дело. — Москва, Современник, 1986.

Рассказы и повести. — Москва, Современник, 1987.

За тремя волоками. — Москва, Художественная литература.

Повести, рассказы, очерки. — Москва, Русский язык, 1989.

Собрание сочинений в пяти томах. — Москва, Современник, 1991.

Повести. — Школьная библиотека. — Москва, Детская литература, 1998.

Повести. — Школьная библиотека. Минск. «Белорусская наука», 1998.

На других языках, в союзных республиках:

Сб. «Повестирь» — Кишинев, 1984, изд. «Литература аристеке».

Сб. «Уйрепшкити шаура» — Алма-Ата, изд. «Жалын», 1984.

На армянском языке — Изд. «Советикан грох», 1989.

Сб. «Jaardine ase» — Таллин. Изд. «Looming», 1970.

Изд. «Eesti raamat» — Таллин, 1987.

Сб. «Paprastas reikalas» — Вильнюс, изд. «Вага», 1973.

Сб. «Гудуть дроты» — изд. «Днипро», 1983.

Болгария: Сб. рассказов и повестей В.Белова

«Датата с хармелина» — Пловдив, 1974.

Венгрия: Сб. «Bucsuhalonn» — Будапешт, 1970.

Чехословакия: «Zo Ziwota Iwana Dripowa» — изд. «Translation».

Германия: Сб. произведений В.Белова «Sind wir ja gewohnt» — 1978.

Сб. В.Белова «Frühlingnacht» — 1982.

Отдельное изд. повести: «Sind wir ja gewohnt» — Берлин, 1982.

Финляндия: В сб. повестей В.Белова «Tuttu tarina» — 1979.

Швеция: В сб. В.Белова «Ganmalt ock vant» — 1980.

Франция: Отд. издание повести — «Affaire ahabitude» — 1969.

Дания: «Den sedvanlige Jeistorie» — 1990.

Кроме перечисленного, повесть Василия Белова вошла в сборники русской прозы, изданные в Китае, Индии и в других странах.

Вот так: русская повесть о русской жизни, опубликованная в небольшом региональном журнале «Север», стала достоянием читателей практически во всем читающем мире.

За недостатком места мы не станем здесь приводить перечень литературоведческих работ (также — мирового размаха), посвященных повести Василия Ивановича Белова «Привычное дело». Скажем только, что их общий объем сегодня в сотни раз превышает объем самой повести.

Перечитывая “ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО”

1

“Привычное дело”, — утверждал Ф.Абрамов, — приняли все: и либералы, и консерваторы, и лирики, и физики, и даже те, кто терпеть не мог деревню ни в литературе, ни в жизни”. Доброжелательные, подчас восторженные отклики на повесть В.Белова были, действительно, на редкость активными и дружными, однако же ее принятие не было ни поголовным, ни беспроблемным. Ф.Абрамов оставял в стороне и драматические обстоятельства, предшествовавшие появлению “Привычного дела” в печати. Эти обстоятельства теперь хорошо известны читателям журнала, взявшего на себя ответственность и смелость опубликовать талантливое произведение*.

Непростые обстоятельства складывались и в процессе легализации “Привычного дела” в литературе и в общественном сознании. Вот совсем небольшой, но характерный сюжет, невольным участником которого довелось стать автору этих строк. Вскоре после выхода январского номера “Севера” за 1966 год я получил предложение дать отзыв на повесть В.Белова. С этим предложением, походившим на поручение, обратился секретарь Карельского обкома партии по идеологии М.Х.Киуру. Из разговора с ним можно было понять, что отзыв потребовался для готовившейся встречи первого секретаря обкома И.И.Сенькина с творческой интеллигенцией города. Оценивать только что опубликованное произведение — дело невероятно трудное, а в ситуации, о которой идет речь, — тем более. Но писать-то отзыв надо! Трехстраничный машинописный отзыв как-то у меня сам собой сложился из следующих основных и, казалось мне, самоочевидных характеристик повес-

ти: “Привычное дело” примыкает к большой группе художественных произведений, рассказы-вающих о сложных и противоречивых процессах в жизни послевоенной деревни, оцененных критикой как положительное явление в литературе; жизнь деревни изображена В.Беловым с таким знанием, глубиной и мастерством, каких не достигали его ближайшие предшественники, повесть воспринимается как произведение, вышедшее из самых глубин народной жизни; художественная правдивость “Привычного дела” как произведения эпической прозы раскрывается с особой убедительностью в покоряющей правде и полноте изображенных В.Беловым человеческих характеров; о позиции автора и о повести в целом можно будет судить лишь после выхода ее второй части.

Из этих положений сегодня я не повторил бы только первого, потому что традиция изображения судеб деревни, сложившаяся в прозе рубежа 50—60-х годов, в “Привычном деле” была в корне переосмыслена. Упоминание в отзыве о группе художественных произведений, развивавших эту традицию, было вызвано единственным желанием — поставить повесть В.Белова под защиту уже опубликованных и официально признанных произведений. Такого рода тактические ходы в критике 60-х годов были делом привычным.

О том, какие вопросы обсуждались редакцией “Севера” в обкомовских кабинетах и с цензурой в ходе подготовки “Привычного дела” к публикации, я тогда ничего не знал. Но меня не удивило полученное вслед за отсылкой отзыва приглашение на встречу с М.Х.Киуру. Поблагодарив за отзыв, М.Х.Киуру не согласился с однозначно положительной оценкой повести, сделав упор, как и следовало ожидать, на безрадостности нарисованной писателем общей картины жизни. Было ясно, к чему кло-

нился разговор. Чтобы не дать втянуть себя в это дело, то есть дополнять отзыв критическими замечаниями, я сказал, что к написанному мной я готов добавить только то, чего не написал: повесть В.Белова — прекрасная вещь и по-настоящему новое слово в современной литературе.

Выступление И.И.Сенькина состоялось в актовом зале Института усовершенствования учителей. Докладчик говорил о положении дел в экономике и культуре республики. Остановку И.И.Сенькин сделал и на повести В.Белова. Совсем краткую. Дословно могу привести только одну фразу, прозвучавшую как резюме: “Я знаю, такое в северных русских деревнях было”. Думаю, не только у меня в зале это вызвало вздох облегчения. Еще запомнилось выступление министра культуры Н.Л.Колмовского. Тем, главным образом, как министр аргументировал свое понимание основного, на его взгляд, недостатка повести: “Прочитал я повесть на сон грядущий и, представьте, после этого не мог уснуть”. Трудно было иным способом указать, быть может, на важнейшее достоинство критикуемого министром произведения. Впрочем, министра, наверное, можно и нужно было понять.

Повесть В.Белова — не рядовое произведение новейшей русской литературы. В советской прозе 60-х годов не было ничего равного ей по новизне и глубине видения народной жизни, по эпической полноте ее изображения и по языку. Уже при своем появлении она производила впечатлительное литературное событие, возможно, близкого по значению тому, какое в Прусской литературе XIX века имели “Записки охотника” Тургенева или “Бедные люди” Достоевского. Такое понимание повести В.Белова формировалось в пору активно-

* Белов В. Привычное дело. (Из прошлого одной семьи). Север. 1966. № 1.

го изучения деревенской прозы в целом, и впоследствии оно не подвергалось пересмотру. Отдельные исключения — не в счет. В них хорошо просматривается позиция тех, кто, по слову Ф.Абрамова, “терпеть не мог деревню ни в литературе, ни в жизни”. Другое дело — как повесть В.Белова воспринимается и может быть воспринята сегодня, в условиях в корне изменившейся историко-культурной ситуации? Нетрудно предположить, что расклад мнений и диапазон разночтений могут быть внушительными, соответствующими самосознанию современного российского общества (если оно вообще существует), распавшегося на части, группы и течения по идеологическому признаку. В этих условиях возникает особо настоятельная необходимость и потребность внимательно перечитать “Привычное дело”, дистанцируясь от всех идеологически ангажированных версий, суждений, мнений, подходов и т.п. Французскому драматургу Э.Легуве (1807—1903) приписывают афоризм: “Чтение — превосходный профессор литературы”. По аналогии с этим афоризмом можно утверждать, что перечитывание известного произведения — превосходный способ проверки достоинств, подлинности художественного произведения и его принадлежности к явлениям искусства слова. Если произведения после его опубликования нам хватило всего на один читательский заход и ничего в нем не осталось для перечитывания, это означает, что в памяти читателей и в истории литературы в прописке такому произведению будет отказано. “Привычному делу” такая перспектива явно не угрожает.

Повесть В.Белова перечитывается легко, непринужденно, и не только благодаря ее чудесному языку. При видимой содержательно-формальной прозрачности она несет в себе смыслы, еще неисчерпанные в критических

интерпретациях, сохраняет живую магию текста, озадачивая логикой своей внутренней организации, и не спешит выдавать все свои секреты.

Наиболее интересное в остающемся секрете скорее всего будет обнаружиться в поэтике повести. Это предположение, помимо субъективного ощущения, подкрепляется тем, что изучение “Привычного дела”, как и всей деревенской прозы, в силу особенностей и запросов того времени было заметно социологизировано, что отнюдь не содействовало глубокому проникновению в художественный мир повести. Теперь, с 35-летней временной дистанции, в художественных решениях писателя резче и отчетливее разливается многое из того, на чем глаз прежде просто не задерживался.

2

Само название повести привлекает внимание не только емким смысловым подтекстом, о чем много писали, но и своей формой, что фактически не комментировалось. А ведь писатель почему-то отказался от права озаглавить произведение от своего имени, используя с этой целью излюбленное изречение главного героя. Это изречение появляется бесконечно много раз, приобретая многообразные оттенки содержания. Оно произносится как присловье, коим Иван Африканович отмечает, фиксирует все значимые свои поступки и случаи в жизни. В содержательно законченных фрагментах текста присловье воспринимается как рифма в стихе, а в ряде глав с его помощью акцентируется внимание на сложных социально-философских мотивах повествования. И только в одной из подглавок (в седьмой главе) присловье Ивана Африкановича дается в авторской редакции, и она названа, как и повесть в целом, “Привычное дело”. Се-

мантика подглавки здесь намного превышает содержание того, что обычно выражает или подчеркивает Иван Африканович своим присловьем.

В названии повести, таким образом, присутствует начало, идущее непосредственно от автора, и то, что принадлежит герою, выражающему самосознание народа. При том, согласимся, авторская интонация почти не ощущается, потому что словесный образ заглавия произведения нам внушен героем и исходит от него по преимуществу.

Отмечаемая особенность поэтики заглавия — это, конечно, деталь, но в этой детали запрограммировано концептуальное зерно художественной стратегии писателя: дать миру народной жизни самореализоваться, минуя любых посредников и самого автора в том числе, выразить себя лично и непосредственно, быть не объектом наблюдения и оценки, как это было в предшествующей литературе, а стать субъектом действия, оценивающим себя и окружающий мир, исходя из понятий и норм нравственности, выработанных народом веками труда и борьбы за правду и красоту. Творческое претворение этой стратегии и сделало “Привычное дело” произведением, словно вышедшим из глубин самой жизни народа, художественная правдивость которого с особой убедительностью раскрылась в покоряющей правде и полноте изображенных писателем человеческих характеров, укорененных в национальной почве и в вековых традициях народной нравственности.

Повесть В.Белова резко изменила перспективу художественного осмысления современности на материале судеб деревни, а духовно-нравственные проблемы, поставленные в “Привычном деле”, надолго стали предпочтительным объектом изучения в критической литературе. Обращения к поэтике повести представляли собой всего лишь по-

путные наблюдения. Дефицит работ на эту тему всегда сказывался в практике вузовского изучения произведения В.Белова. Вспоминается сравнительно еще недавний случай, когда для студентки третьего курса оказалась почти непроходимой (непосильной) избранная ею для курсовой работы тема «Истоки художественного драматизма в повести В.Белова «Привычное дело» и формы его воплощения». Студентка сетовала на переизбыток в критике суждений о морально-этической тематике повести, на фрагментарность и часто полное отсутствие наблюдений над сюжетом и композицией произведения. Масла в огонь подлили современные прозаики. В материалах одного «круглого стола» студентка прочитала: «Художественный драматизм в литературе эпохи застоя возникал очень просто: стоило одному персонажу заикнуться правдой, тут же взламывались привычные взаимоотношения...»* и т.д.

Курсовую работу студентка в конечном счете написала, опираясь в основном на финальные события повести. Произведение в целом по причине, о которой идет речь, на избранную ею тему «не работало».

На базе эпического по характеру видения-отражения народной жизни, определявшего творческую стратегию автора «Привычного дела», наряду с проблематикой, формировалась и не бросающаяся в глаза, но чрезвычайно интересная, самобытная жанровая структура повести, недооцененная и вообще вряд ли отмеченная в критике. Как в самой жизни народа все ее жанры бывают перемешаны, в таком виде они предстают и в повести В.Белова. Самое гармоничное произведение, каким, бесспорно, стало в творчестве В.Белова «Привычное дело», строилось на дисгармоничном (многослойном) в жанровом отношении основании. В связи с этим в скоб-

ках замечу: энтузиастов-исследователей творчества В.Белова ожидает увлекательнейшая тема: «Поэзия и поэтика дисгармонии в повести В.Белова «Привычное дело»». Заметить это необходимо для адекватной оценки содержания повести и небезынтересно в теоретическом отношении. Потому что жанровый синкретизм, о чем приходится вести речь здесь, в русской литературной традиции был, как правило, преимуществом произведений Большой эпике. А перед нами небольшая по объему повесть.

Первые две главы, не имеющие названий, — это, конечно, главы *социально-бытовой повести*, рассказывающие о жизни и быте сельской российской глубинки и о семье главного героя. Что в них особенно впечатляет?

«Привычное дело», по признанию Вл.Личутина, «смыло» с него «всю графоманию», сыграло решающую роль в его становлении как писателя. Далее Вл.Личутин вспомнил о более позднем знакомстве с Ф.Абрамовым, произведения которого привели его к выводу, что Ф.Абрамов «более народен», чем В.Белов или В.Распутин**.

Мне кажется, Вл.Личутин в данном случае говорил не совсем то, что он имел в виду. Определять в стиле «больше—меньше» меру народности писателей, связанных кровными узами со своим народом, — занятие бесперспективное. Зато можно и полезно подумать о том, какие стороны и начала народной жизни каждый из упомянутых Вл.Личутиным писателей выразил полнее и глубже. Ф.Абрамов, наверно, масштабнее и с большей остротой поставил в своем творчестве ключевые социальные проблемы народной жизни. Народность В.Белова ярче и полнее раскрылась в непосредственном художественном изображении народа, самой генетики народной духовности, жизни и быта, ритма и лада народной жизни.

Вот этим редким мастерством передачи органической жизни народа в ее естественном течении больше всего завораживают страницы первых глав повести, и потому непонятно, на чем основано бытующее в критике представление о наличии в «Привычном деле» каких-то «вводных» или «вставных» новелл. К ним относят подглавку «Бабкины сказки» и главу «Рогулина жизнь». О последней разговор ниже, что же касается подглавки «Бабкины сказки», то она последовательно развивает содержание предыдущей подглавки «Детки» на изображении ее главной героини (крестьянская бабка — не бабка без сказки). Сюжетно она тоже никак не выделена. Евстоля встречает вернувшихся с улицы ребят, журит их и тем провоцирует на просьбу о сказке. «Где погостили-то? Как пошехонцы, как пошехонцы! Вот пошехонцы-ти раньше тоже были растрепы. Кушать кушали, а жить-то не умели.

— Баба, сказку, баба, сказку!»

Сказка Евстоля без начала и без конца, рассказывается «походь». За это время Евстоля успеет оттереть стол, взбить в горшке сметану, время от времени покачивая люльку с шестимесячным внучком. Сказка оборвана с приходом Степановны. С нею Евстоля обсудит все домашние и деревенские дела и продаст ей один из самоваров, подпорченных Иваном Африкановичем при перевозке из селыо. В сюжете повести рассказывание сказки — выразительная примета традиционного крестьянского быта и одновременно — художественная проекция изображенной В.Беловым действительности, в которой было немало пошехонского.

* Современная проза — глазами прозаиков // Вопросы литературы. 1977. Январь-февраль. С.5.

** Вл.Личутин, Вл.Бондаренко. Преодолеть русский раскол // Север. 2000. № 8. С.148.

Вводные (вставные) новеллы в беловской повести исключались изображением народной жизни в ее естественном самодвижении, в переходах одних форм в другие. Поэтому в следующей, третьей, главе социально-бытовая повесть свободно и необходимо перетекает в *эпос многоголосия*. Особое положение этой главы отмечено тем, что, в отличие от всех предшествовавших и последующих, кроме главы “Рогулина жизнь”, третья глава имеет название “На бревнах”. В главе представлен весь деревенский мир — от мала до велика. Все — со своими делами, печальми и заботами. У каждого свой взгляд на мир и происходящее вокруг. Все изображены до прозрачности с беловским искусством владения характерной деталью. В пробежавшем мимо бревен близнеце Ивана Африкановича, Ваське, “похожем на зайца”, препровождаящем домой корову (“Иди, Рогуля, иди”) различимы короткие Васькины штаны с лямками крест-накрест, надетые задом наперед, полосатая замызганная рубашонка и свисающий с нее, болтающийся на голом Васькином пузе отцовский орден Славы. Обсуждаются главным образом дела повседневные, бытовые и ближайшее по времени событие — война. На стихийно возникшей сельской ассамблее фронтовиков (старики Куров, Федор, Иван Африканович, публика — тракторист Мишка Петров) обыгрывается сюжет на тему Ялтинской конференции. Коллективно творится остроумнейшая инвектива (о том, как бы следовало поступить с Гитлером, ежели бы его удалось поймать), высмеивающая двуличие наших союзников по антигитлеровской коалиции, достойная войти в хрестоматию по истории отечественной сатиры.

“На бревнах” — глава поворотная, подготавливающая развитие событий в ином направлении. Об этом говорят отдельные детали и сценки, создающие в со-

вокупности ощущение тревоги и ожидания чего-то непредсказуемого. У Еремихи на всю деревню отчего-то ревет теленок и никак не хочет идти домой. У старика Федора в погожий день не удалась рыбалка. По деревне ползет слух о “буржуазниках”, затеявших игры “с бонбами”, а “наши хамкают”. Появляется персонаж, воспринятый всеми как чужак. Селяне не хотят иметь с ним дел. Бабка Евстоля вместо ответа на вопросы “где бригадир?”, “как силосование двигается?” бесцеремонно отчитала чужака, а когда тот попытался было что-то записать, Евстоля оборвала его и даже пригрозила: “Ты, батюшка, оберни поминальник-то, оберни от греха подальше”. Резко изменяется настроение главного героя. “У Ивана Африкановича с ночи на душе было какое-то странное беспокойство”. В главе сам собой созревает немой вопрос: что-то будет завтра? Ответ на него дан в конце главы уже открытым текстом: “Все может быть завтра на смоляных бревнах”.

Повествование в последующих главах приобретает катастрофический характер: на семью Ивана Африкановича обрушиваются безжалостные удары судьбы, семья распадается, дети обрекаются на непредсказуемое полусиротское будущее. В основной части “Привычное дело” читается как трагедия в прозе, как произведение боли и протеста против общественных сил и форм социальной жизни, породивших трагедию крестьянской семьи. В литературе 60-х годов были и другие произведения, исполненные глубокого драматизма, но, пожалуй, не было произведения печальней, чем написанная В. Беловым повесть о судьбе крестьянской семьи Ивана Африкановича Дрынова. Поэтому спустя 35 лет, прошедших после опубликования повести, больше всего удивляет ее общий ровный и мирный тон и строй, ее бесконфликтность, отсутствие развитого критического начала. В отноше-

ниях героев “Привычного дела” возникает противоречия, однако они не образуют общего внутреннего конфликта. Обозначен, именно лишь обозначен, конфликт особый, универсальный по его социально-исторической значимости, возникший между незрелыми потребностями народной жизни, с одной стороны, и окружающим социумом и властью — с другой.

Тема эта возникала еще в начале повести, в частности, в сетованиях на жизнь хмельного Ивана Африкановича, обращенных к его безмолвному собеседнику: “Все мы, Парменушко, под сельпом ходим, ты уж меня не ругай”; “...ты ведь одно вино да начальство возишь, жизнь-то у тебя как у Христа за пазухой”. В дальнейшем тема социума и власти, довлеющих над повседневной практической жизнью народа, продолжится в сатирически заостренном изображении представителя власти в лице уполномоченного, но ее разработка не выстраивается в полнокровную сюжетную линию, а значит, и в последовательное и прямое обличение виновников трагедии. И понятно, почему. Ибо что могло быть обличительнее правды, явленной в “Привычном деле”, и того, как она представлена писателем? Другими словами, автору “Привычного дела”, по-видимому, ближе оказалась не роль критика-сатирика, а более органичная для него как писателя и единственно возможная в тех условиях *роль бытописателя сельской трагедии*. В его повести трагедия вырастает из текучих, пестрых и привычных реалий повседневной жизни народа. При этом писатель сохраняет заявленную в повести и присутствующую в ее заглавии позицию летописца-наблюдателя изображаемого, создавая абсолютную по совершенству и завершенности художественную иллюзию своего отсутствия или, как выражаются теоретики, “внезаходности” (термин М. Бахтина) на страницах собст-

венного творения. Драматическое, трагедийное и ужасное в жизни изображается как дело привычное, как своего рода норма бытия, и оттого ужасное становится стократ ужаснее, а ставшее привычной нормой — стократ аномальней и противоестественней.

Два стожка сена, накошенные колхозником для себя ночами, в семи верстах от дома на заброшенных лесных делянках, вырастают до размеров преступления, сопоставимого с изменой родине. И не только в представлении и в истолковании уполномоченного. В сознании самих колхозников, показывает писатель, произошла трагическая по своим последствиям метаморфоза понятий и социальных критериев: естественное, обещанное и даже воспетое: “Все вокруг колхозное, все вокруг свое!” — вытеснилось официальным статус-кво с тавром государственной идеологии: “Общественная собственность священна и неприкосновенна!” Опасная сама по себе, официальная ложь была вдвойне опасна тем, что порождала фальшь в повседневном поведении людей, формировала бытовое подполье, побуждая жителей Сосновки вести унизительные психологические игры в прятки.

Для уяснения сути этой острой в социально-психологическом плане темы очень значима фигура Ивана Африкановича, образ которого заметно обедняется, взятый вне этой темы и без выявления его роли в формировании трагедийного начала повести в целом. Трагедия не любит и не знает одиночества, вовлекая в свою орбиту все, что с нею соприкасается. Отсюда в произведениях, разрабатывающих подобную проблематику, наличие вариантов и аналогов трагического и многоуровневый характер его художественного запечатления.

Иван Африканович показан в фокусе самого процесса образо-

вания потаенной стороны жизни деревни. В его поведении типизируется и привычно-покорное отношение селян к порядку вещей, не совместимому с практической жизнью крестьянина. Придя на ночной покос, Иван Африканович, по обыкновению, “тихонько, чтобы не услышал кто”, ставлял косу, обкашивал предусмотренное число кустиков, к утру, “чтобы не увидел кто”, шел домой не прямо дорогой, а коровьими тропами, “крадучись”, после чего выходил прямо в поле и здесь уже в открытую косил до вечера колхозное сено. “Конечно, бригадир знал, что Иван Африканович косил по ночам. Знал и Иван Африканович, что бригадир знал, только притворялись малыши ребятами и в глаза друг другу старались не глядеть”.

Когда тайное станет явным, Иван Африканович окажется в положении сельского злоумышленника, обязанного отвечать за то, чем занималась вся деревня. Отвечать, как мы помним, Иван Африканович не станет. Покорно оброненное им слово “виноват” — не ответ. О многом на этих страницах повести читателю придется догадываться. Когда чеховский злоумышленник был вызван на допрос к следователю, он ничуть не переживал, наивно полагая, что, отвинтив одну-две железнодорожные гайки, ущерба дороге не причинял. Иван Африканович, в отличие от чеховского героя, доподлинно знал, что своими ночными покосами он никому и ничему урона не наносил — ни земле, ни людям, ни колхозу, но, вызванный на допрос к уполномоченному, был раздавлен стыдом от предстоящего разговора, ощутил себя человеком, совершившим преступление. Потому что знанием своим Иван Африканович не смог бы защитить себя и даже воспользоваться им. Ведь в лице уполномоченного ему противостояла неумолимая и неодолимая правда, сотканная из официаль-

ной лжи и вынужденной практики селян, этой самой ложью и порожденной. Автором обо всем этом сказано немного, даже скупое, но сказано все. Думается, не случайно и то, что в жизни Ивана Африкановича это был едва ли не единственный случай, по завершении которого он сам не произнесет своего любимого присловья.

Фронтовик, не помнивший, на каких только фронтах ему не довелось повоевать, не раз смотревший смерти в глаза, Иван Африканович на допрос в кабинет председателя “вошел, будто котблудня”, “он чуть не плакал от стыда, виновато мигал и чуял, как розовели горячие уши”. В чувство его не привели даже грубые окрики и угрозы уполномоченного. Иван Африканович “понуро, боком вылез из кабинета. Забыл надеть шапку и с великим стыдом, качая головой, вышел на крыльцо. Ему было до того неловко, совестно, что уши долго еще горели. Слово ошпаренные самоварным кипятком”. Кажется, когда В.Белов писал эти страницы, сердце его должно было разрываться от боли, гнева и сострадания простодушному, бесконечно честному, хотя и небезгрешному герою.

Характер драматических переживаний Ивана Африкановича в истории со злосчастными стожками сена резко оттеняется его трагическим монологом-исповедью на могиле Катерины, достигающим огромной эмоциональной силы. Там — высвеченное словом в мельчайших подробностях, раскрытое настежь любящее и страдающее сердце, в страдании обретающее очищение и искупление. Здесь, на допросе уполномоченного, — драма унижения, переживаемая молча в недрах души, прорывающаяся наружу в жестях и скупой обозначенная замечаниями рассказчика.

Когда создавалось “Привычное дело”, в литературе продолжалась начавшаяся с выходом

“Судьбы человека” М.Шолохова активная дискуссия по вопросу о соотношении героического и трагического в произведениях, посвященных событиям Великой Отечественной войны. “Привычное дело” было одним из немногих тогда произведений, в котором трагическое начало высвечивалось и доминировало в художественном осмыслении современности. Каким образом на это отреагировала критика? В очень характерном отклике отмечалось: “Как ни велики изображаемые В.Беловым трудности, лишения, слезы и горе, они не в силах у В.Белова заслонить любви героев к труду и поэзии сельской жизни”. Если вдуматься, повесть В.Белова в отклике подстраивалась под один из нормативных принципов соцреалистической эстетики, по которому положительное начало в произведении должно перевешивать все, что бы в нем ни изображалось. При этом положительное понималось не в общегуманистическом смысле, как бы следовало, а, так сказать, по факту, в формально-фактографическом плане, как в приведенном отклике: в произведении В.Белова есть и лишения, и слезы, и горе, и поэзия сельской жизни, но не об этом оно написано; хотя и то, и другое в “Привычном деле” присутствует и осознается лишь в контексте трагедийного сюжета повести, резко изменяющего эмоционально-эстетическую доминанту в изображении человека и его труда.

Великие труженики “Привычного дела” — Катерина и ее напарница доярка Нюшка. О Нюшкином трудолюбии читатель узнает по развешенным в ее доме грамотам. Катерину на ее работе мы тоже почти не видим, и это не мешает разглядеть в ней, быть может, “современный вариант некрасовской “величавой славянки”*. Ее хватало и хватало на все: родить девятых детей, растить и заботиться о них, обихаживать колхозных коров, под-

кармливать время от времени остающихся без присмотра телят Дашки Путанки, руководить своим самым трудным ребенком, Иваном Африкановичем. Обремененная трудом и заботами, Катерина сохраняет живой интерес к окружающему миру: она не пройдет мимо придорожного родничка, полюбуется по пути на ферму красотой раннего утра. Только в двух подглавках повести “Жена Катерина” (глава вторая) и “Последний прокос” (глава пятая) Катерина показана непосредственно в обычных для нее трудовых буднях. Изображение Катерины в обеих подглавках создает ощущение нечеловеческой тяжести, если не сказать — жестокости ежедневного труда женщины. Это ощущение усиливается самим стилем ее изображения: движения и действия Катерины тщательно детализированы, подаются в строго объективированной манере, без какого-либо эмоционального сопровождения — все предстает как дело привычное.

Катерина встает в три часа ночи, чтобы успеть больше сделать дома до утренней дойки колхозных коров. Она осторожно пробирается с ведрами меж головок вповалку спящих на полу ребятишек к колодцу за водой и с ведрами обратно. Катерина раньше времени выписалась из больницы после родов и, не отдохнув, как обещала врачу, вышла на работу. Ее мучают постоянные приступы гипертонии. Вот и сегодня, принесла тридцать ведер воды из речки, обрядив и подоив коров, она почувствовала неладное. Один приступ она одолела, думала, совсем отпустило. “И вдруг опять будто кто зажал Катерине рот и начал душить, ослабла враз и ничком опустилась на сухую теплую соломенную подстилку”.

Из очередного, тоже краткого гребывания в больницу, куда ее отвезут, Катерина вернется домой к воскресенью. А воскресенье в Сосновке — Юрьев день.

Можно покосить для себя не таясь. “Катерина убежала в лес еще с вечера. Она выкосила за ночь с фонарем пригожую пустовинку. Утром обрядила на скорую руку телят с коровами и опять в лес, уже втроем; бабка разбудила Гришку и Катюшку”. Наставив дочке косу и показав, как ее надо держать, Катерина, “беззвучно плача”, долго глядела на дочку, на ее первые в жизни прокосы. Сама Катерина в этот день будто и не чувствовала усталости, косила и косила. “До лесных кустов, до конца прокоса оставалось взмахов десяток, а она нечаянно, непроизвольно остановилась и выронила косу... Гришка! Катюшенька! — хотела крикнуть она, но губы только чуть пошевелились...” Еще живую Катерину привезут домой Мишка Петров с Дашкой Путанкой, косившие поблизости. Везти ее в больницу, по заключению врача, уже не имело смысла. На этом заканчивается повествование о Катерине и кажется оборванным. Но это не совсем так. К подглавке, завершающей повествование о Катерине, вплотную примыкает глава “Роголина жизнь”. Судьбы Катерины и Роголи не только сближены композиционно, но и соотносены как разные ипостаси (формы) единого и неделимого мира народной жизни.

Катерина — родоначальница многодетной крестьянской семьи, ее опора и надежда. Роголя — кормилица крестьянской семьи. Смерть Катерины стала началом распада семьи, гибель Роголи сделала распад неотвратимым. В судьбе Катерины драматизм ее трудовых будней лишь предвещает трагический исход, в повествовании о жизни Роголи бытописание сельской трагедии достигает наивысшего эмоционального напряжения. Писатель не захотел — и понятно почему — показать смерть Катерины, прощание с нею и похороны. В

* Гин М. Литература и время. Петрозаводск, 1969. С. 263.

памяти читателей и в сознании героев повести Катерина остается живой. Такой — не ушедшей в небытие, а обитающей где-то поблизости — Катерина присутствует в монологе-исповеди Ивана Африкановича на ее могиле. Рассказав о семейных делах и покавшись, Иван Африканович на прощанье дает обещания, наказывает жене, спрашивает ее: “Это, буду к тебе приходить-то, а ты меня и жди иногда... Катя... Ты, Катя, где есть-то? Милая, светлая моя...” Со всеми подробностями дано описание только гибели Рогули и трогательного прощания с ней, как с родной матерью, детей Катерины. Изображение жизни и судеб Катерины и Рогули в совокупности вырастает до широкого художественного обобщения, до символа жизни народа и страданий народа в изображаемую эпоху.

3

В одном из ключевых вопросов о причинах отсутствия в “Привычном деле” прямого обличения виновников трагедии крестьянской семьи, возникающем при перечитывании произведения, можно поставить точки над *i*. В повести В.Белова, необычайной по форме повествования, тем не менее высок потенциал обличения и социальной критики действительности, растворенной в эпически насыщенном изображении жизни. В этом, в искусстве критики и обличения правдой, автор “Привычного дела” — наследник богатейшей традиции русской классической литературы. Связь с этой традицией в повести присутствует в осмыслении и оценке практически всех аспектов изображенной писателем сельской трагедии, но с наибольшей наглядностью, может быть, она проявляется в следовании особенно характерной для русских классиков традиции обращения к детской душе как к *ultima ratio* (последнему доводу),

каким они в своем творчестве поверяли меру справедливости окружающего мира и свое отношение к нему. Достоевский поставил детскую слезинку впереди всех дел человеческих и впереди самого прогресса цивилизации.

Дети в “Привычном деле” — участники всех этапов семейной драмы, а самый драматический и обличительный мотив детской темы формируется в изображении ребенка, страдающего от неизбывной детской тоски по вечно отсутствующей матери. Чувства ребенка, детские переживания у В.Белова имеют свой возраст, характер и форму проявления. Они редко обнаруживаются в слове, чаще заявляют о себе в слове, еще чаще переживаются молча.

В трагедийной повести В.Белова повествование сопровождается комическими сценами и эпизодами, и без этого элемента “Привычное дело” не было бы произведением, где все — события и жизнь людей — преломляется сквозь призму народного самосознания. Органичность присутствия комического в повествовательной стихии повести подчеркивается самой формой его выражения.

Претворением комического в “Привычном деле” стал народный юмор по преимуществу, и потому весь юмор повести легко укладывается в рамки народных жанров комического, свободно сочетающих комизм с драматизмом и трагизмом. Среди них: шутка на бытовой или политической основе с серьезным подтекстом (любимый жанр сельского остролова, старика Курова); курьезный случай, переросший в конфронтацию с властью (дерзкая выходка шурина Ивана Африкановича, Митьки, предьявившего уполномоченному вместо удостоверения личности бумажку интимнейшего содержания и назначения); комическая история с горчинкой “смеха сквозь слезы” (сватовство Ивана Африкановича и Мишки Петрова к до-

ярке Ньюшке); то же можно сказать о насквозь пошехонской истории с колхозным водопроводом, качавшим воду не из речки, как бы следовало, а из колодца, и др.

При прочтении “Привычного дела” как социальной трагедии стоит учесть позицию современных западных теоретиков, выдвигающих в качестве существенного момента комического “субъективное состояние духа”, то есть осмысление действительности определенным образом настроенным человеком. В этом случае активность, с какой в сознании героев В.Белова возникает комическое воодушевление, может быть понята, говоря высоким слогом, как ответ на потребность духа в свободе — наперекор всему — нелепостям и гримасам окружающей действительности, гнетущим заботам и нуждам повседневности.

Как бы там ни было, не снижая и не затушевывая трагизма повести, смех в “Привычном деле” освобождает повествование от безысходности и тем самым помогает полнее передать глубинную народность этого произведения.

В. П. КРЫЛОВ,
доктор филологических наук

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

В 1997 году, выпуская 1 класс (лицей № 40 г.Петрозводска), я дала на выбор для самостоятельного прочтения повести В.Белова "Привычное дело" и Ф.Абрамова "Пелагея" и "Алька". Итоги наблюдений и раздумий предлагалось изложить в жанре рецензии. Представляем одну из удачных работ.

Л.И.КИРИЛЛОВА

*доцент кафедры литературы КГПУ,
кандидат педагогических наук*

**До конца,
До тихого креста
Пусть душа
Останется чиста!**

Н. Рубцов

С произведениями В.Белова я впервые познакомилась в этом году. Как я рада, что в руки мне попала повесть "Привычное дело"! Я много читала о любви, но о такой, негромкой, не выставляющей себя напоказ, глубокой, единственной, пожалуй, прочитала впервые.

Нам посоветовали прочитать это произведение в связи с изучаемой темой "Послевоенная деревня в литературе XX века". Уже все вместе мы проанализировали рассказ А.Солженицына "Матренин двор", так что представление об истинно народном характере, об отношении государства к своим работникам, о разъедающей душу тяге к "доброму", "обзаводу" мы имеем.

Повесть "Привычное дело" оставила поистине неизгладимое впечатление.

Иван Африканович, один из главных героев, раскрывается перед читателем не сразу. Он возчик в сельпо, работает за 15—18

рублей в месяц, рыбачит, охотится, чтобы прокормить семью, да не получается у него жить в достатке. "Давным-давно выменял он на библию гармонь, не успел даже на басах научиться тренькать — описали за недоимки по налогам и продали". По пьяному делу сломал два самовара: упали из перевернувшихся дровней, надо платить 54 руб. 84 коп., сумму для него почти астрономическую.

Но это то в характере Ивана Африкановича, что видно сразу; это лежит на поверхности, это внешнее. Чем дальше читаешь, тем большим уважением к нему проникаешься: это совестливый, понимающий, любящий все вокруг человек, прошедший войну, шестью пулями раненный. Он философ, хоть, на первый взгляд, и немудреная у него философия: "Жись, везде жись! Под перьями жись, под фуфайкой жись. Женки вон печи затопили, канителяются у шестков — жись. И все добро, все ладно. Ладно, что и родился, ладно, что детей народил. Жись она и есть жись". Как он тоскует по своей Катерине, как ощущает себя и ее половинками единого целого! Он без нее теряется, почва из-под ног у него уходит, они настолько выросли друг в друга, что когда Иван Африканович решает попытаться счастья на чужой стороне, то это искусственное разделение заканчивается трагедией.

В.Белов пишет об этом так просто, так пронзительно! Перед отъездом "у Ивана Африкановича словно что-то запеклось внутри, ходил молча, не брился...". Понимаешь, что собрался он на далекий Север, чтобы заработать, выбиться из нужды, чтобы не убивалась так на ферме Катерина. Но понимаешь также и то, что им врозь никак нельзя. И он,

и она это чувствуют. А если жизнь такая, что другого выхода не видишь? Когда читаешь о заседании правления колхоза, где должны Дрынову выдать справку на получение паспорта, все переворачивается в душе. "Председатель взял первое заявление, оно было написано от имени одной одинокой бабки, которая просила выделить пенсию. Выделили четыре рубля в месяц..." Когда отказывают нашему герою выдать справку, "у него вдруг, как тогда, на фронте, онемели глаза и какая-то радостная удаль сковала готовые к безумной работе мускулы, когда враз исчезал и страх, и все мысли исчезали, кроме одной: "Вот сейчас, сейчас..." И он, дивясь самому себе, ступил на середину комнаты и закричал: "Справку давай! На моих глазах пиши справку!"

Когда председатель, тоже фронтовик, устало зажав ладонью лоб, сказал: "Ладно... Хоть все разбегитесь", — Иван Африканович остро пожалел его.

Буквально потряс меня образ Катерины. Какая она сильная, гордая, самостоятельная — и застенчивая, несмелая одновременно. Бьется как рыба об лед, встает в три часа ночи или утра, не придумав, как и сказать. После очередных родов на другой день (!) пешком отправляется с мужем домой, а еще через день выходит на работу. "Она принесла тридцать ведер холодной воды из речки, разбавила ее горячей, наносила соломой в кормушки и вымыла руки перед дойкой". И это на третий день после рождения сына! Сейчас такое даже представить невозможно! Но особенно поразил меня другой эпизод: муж уехал на Север, а

“вечером того же дня бригады объявили, что завтра, в воскресенье, разрешено покосить для своих коров”. Разве это не издевательство над людьми? Разве можно выдержать такое напряжение? Писатель рассказывает устами матери Катерины, Евстоля, о том, как умерла дочь: “Вот и наша-то, как дали день-то, так и убежала косить-то, да всю ночку и прокосила, да и насадила, утром и не поела, опять убежала, а в обед вдруг Мишка Петров и бежит: “Евстоля, давай скорее за фершалом посылай!..” Привезли ее на телеге... повалили мы ее на кровать, а она, сердешная, только глотает горлом да все руками у постели шарит, зовет робетешек, а уж сама говорит еле-елешеньки и вся белая как полотенышко...” Появляется такая щемящая боль, будто родного человека теряешь, и бессиле, что не сможешь ничем. История коровы Рогули, чувствую, не случайно дана рядом. Они связаны.

Поражает в повести и то, как В.Белов пишет о детях Катерины и Ивана Африкановича. Особенно — о маленьких. Он представляет, что происходит в их душе, и нам дает возможность приобщиться к этому знанию. Вот Володя, ему полтора года. В люльку, где лежал только он, “подселяют” маленького брата. Все в нем протестует, он “заревел благим матом и залягался”. Особенно мне понравилось вот это, на мой взгляд, тонкое наблюдение автора о характере мальчика: “Он уже знал все звуки родимой избы. Особенно звук двери. У него замирало сердце от тоски, когда бабка с ведром выходила из избы и исчезала. Тогда ему ста-

новилось невыразимо тоскливо... Долгие, жуткие длились секунды, он уже не мог сдерживать слезного крика, но вдруг дверь отворилась — и бабка Евстоля, живая, настоящая, появлялась в избе... Тоска по всегда отсутствующей матери точила его сердечко, а когда уходила бабка, ему было и вовсе невмоготу”. Дети описаны у В.Белова с таким знанием их психологии, с такой любовью! И Катюшка, одиннадцатилетняя девочка, гордая тем, что косит, как мать, и близнецы Мишка с Васькой, которые, не желая умываться холодной водой, “не сговариваясь, молча, легко убедили себя в том, что забыли умыться”, и особенно четырехлетняя Маруся, которая целый день молча страдает оттого, что мамы нет, что нельзя к ней прижаться. Сколько недодано детям ласки и внимания от этих постоянных хлопот о куске хлеба! Какой виноватой чувствует себя Катерина!

В повести я заметила еще одну очень важную деталь — описание родничка. Из него пьют наши герои, у него останавливаются в самые важные для их семьи моменты. “Родничок был невелик и не боек, он пробивался из нутра сосновой горушки совсем не нахально... Вода была так прозрачна, что, казалось, ее нет вовсе, этой воды”. С чистой родниковой водой можно сравнить души и Ивана Африкановича, и Катерины, и их детей, и Евстоля. На таких людях держалась и держится Россия.

Долго думала над названием... “Дело привычное” — любимая присказка Ивана Африкановича. Она появляется в его речи и при рождении сына, и в обсуждении с мужиками событий войны и текущей политики, и в решении покосить для своей коровы потихонь-

ку, ночью... Многие дела на самом деле привычны для Ивана Африкановича, но обидно читать, что власти поставили человека в такое положение, когда “привычным делом” становится крепостной труд в колхозе, полное бесправие, убеждение: надо как-то обходить эти бесчеловечные порядки, иначе — врать... Об этом очень горько читать.

Так о чем же эта повесть? О жизни, о правде, о двуличии, коварстве колхозного начальства и всего общественного уклада, о сохранении в себе чистоты, доброты и порядочности, о национальном русском характере и его долготерпении. Но прежде всего — о любви, которая сильнее смерти. И последний эпизод повести, когда Иван Африканович на сороковой день после смерти жены приходит на кладбище, трогает до слез: “Вот, девка, вишь, как все обернулось-то... Я ведь дурак был, худо я тебя берег, знаешь сама... Вот теперь один... Как по огню ступаю, по тебе хожу, прости. Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя... Ты, Катя, где есть-то? Милая, светлая моя...”

Знаю, что В.Белов живет на Вологодской земле, там же жил и похоронен один из моих любимых поэтов — Николай Рубцов. Мне кажутся очень созвучными эти два голоса наших северян. Постараюсь обязательно прочитать другие произведения Василия Ивановича Белова. Очень запал мне в душу этот писатель чистым, негромким голосом.

Анна КАНЬШИЕВА

НАЧАЛО

“Привычное дело” Василия Белова — явление в нашей литературе значительное, но недооцененное по его идейно-художественной исключительности. То, что оно намного шире и глубже деревенской прозы, становится почти очевидным фактом. Как, впрочем, и то, что это, несомненно, деревенская проза.

Внешняя парадоксальность этого утверждения содержится просто в разных представлениях о таком, казалось бы, устойчивом, традиционном и даже иногда кажущемся устаревшим понятии — литературное течение. Некоторые современные исследователи утверждают, что в причислении литературного произведения к одному из жанрово-стилевых потоков, отчетливо выявившихся в русской прозе 60—80-х годов XX века, отражается кризис старых методологических подходов. Другие предлагают взамен этого рассматривать каждое произведение словесного искусства как уникальный творческий акт, в котором отразилось авторское видение действительности.

Все это правильно. Но, тем не менее, и в набившей оскомину традиционности содержится своя, и немалая, доля истины. И в разговоре о любом литературном явлении последних десятилетий нам никуда не уйти от литературных течений, поскольку, во-первых, они стали фактом национальной культурной жизни именно в такой, привычной трактовке — деревенская, военная, молодежная и тому подобная проза, а во-вторых, названия эти все-таки более или менее удачны, поскольку в них метко схвачена одна из главных черт их художественного своеобразия.

Проблема в том, что понимать под их сущностью. Если общность тематики, как считают многие исследователи, то тогда, конечно, мы столкнемся с множеством несообразностей — это и произошло в случае с деревенской прозой, чье название, хронологические рамки, круг писателей и их произведений до сих пор вызывают противоречивые толкования, а ее основные характеристики как художественной системы по-прежнему не определены.

Если же устойчивость литературного течения видеть в общности идеологических и художественно-эстетических позиций (сошлемся в данном случае на авторитет Г.Н.Поспелова), то мы увидим, что деревенская проза, как и другие ее собратья, обладает некой аурой, идейно-художественным притяжением, концептуальным обаянием, под влияние которого попадали в разное время разные писатели. Сложилось это единство не случайно, а вследствие сложных законов социокультурной жизни и внутрижанрового развития литературы о деревне, в процессе которого постепенно выкристаллизовалось то уникальное по значению и эстетическому своеобразию ядро, которое мы и называем деревенской прозой.

Поэтому называть в качестве точки ее отсчета “Районные будни” В. Овечкина, как это делает Л.Ш.Вильчек, по крайней мере, нелогично. Овечкинские очерки, начавшие печататься в “Новом мире” с 1952 года, только заявили о необходимости коренного изменения в жизни и литературе, но по сути своей оставались в рамках тех же идеологических координат, в которых развивалась “колхозная” литература, обладая к тому же и ярко выраженной “партийной” спецификой лежащего в их основе конфликта.

Достаточно сильное притяжение старых нормативных схем преодолеть было непросто. Даже мощь абрамовского таланта в первом романе о Пряслиных не смогла это сделать. Роман “Братья и сестры” (1958), который В.М.Акимов называет началом деревенской прозы, действительно ближе других произведений 50-х годов стоял к ее эстетике, но все же отличался стилистической неубедительностью многих сцен, использованием старых сюжетных моментов, прямолинейным осмыслением образов. Он заявил о повороте к изображению корневой национальной жизни, но не смог до конца избавиться от налета идеологической проблематики. Это произойдет только в следующем романе - тетралогии — “Две зимы и три лета”, с которым читатель познакомится спустя десятилетие.

Появление в 1963 году рассказа А.Солженицына “Матренин двор”, обладавшего мощной энергетикой протестного потенциала, безусловно, дало новый импульс в развитии темы современной русской деревни, включило ее в традиции православной нравственности. И все же не с него начинается деревенская проза, как это считает П.Паламарчук. Обладая определенным сходством в некоторых формально-содержательных приемах (сказовая форма повествования, автобиографический момент, замкнутость хронотипа, тип героя), поэтика солженицынского рассказа (и прежде всего тяготение текста к авторизованному полюсу, что выразилось в отчужденных отношениях автора и его героини, жесткой заданности нормативных схем, лишь эпизодической самодостаточности художественного пространства и элементов “живой речи” персонажей, которые не стали несущими конст-

рукциями текста) значительно отличается от принципиальных позиций деревенской прозы, движущейся к полюсу самореализации художественной действительности.

Эстетика художественного равноправия, эта заветная конструктивная идея деревенской прозы (и, наверное, всей литературы), воплощение которой ждало своей жанровой формы, реализовалась в жанре повести. Выбор этот не случаен, поскольку именно повесть обладает и органической связью с эпической традицией, без которой невозможно воплощение народного миропереживания в единстве его духовно-нравственных и материально-бытовых координат, и большими возможностями для повествования о современной национальной жизни, ибо уже давно назрела настоятельная потребность в разговоре о подлинных проблемах русской деревни.

Первым произведением, в котором произошло совмещение реального и художественного времени, что обнажило социальное и нравственное неблагополучие деревни, стало “Привычное дело”. В повести В.Белова полнота эпического воспроизведения действительности обусловлена выбором главного героя, характера его изображения и конфликта. Положение “рядового” в социальной жизни делает Ивана Африкановича Дрынова, с одной стороны, не защищенным от всех напастей и бед, которые вносит в его жизнь идеологический режим, с другой — оставляет его вне политических координат, а значит, способствует относительному сохранению его внутренней свободы и индивидуальности (тема разрушения внутренней цельности характера под влиянием социально-политического воздействия заслуживает отдельного и обстоятельного разговора). Такой герой, погруженный в народную жизнь, ориентирован-

ный на традиционные ценности, впервые воспроизведенный с такой полнотой национального миропереживания (и именно в этом и заключается его “инакомыслие”), не может не вступить, пусть и в скрытый, но конфликт с режимом, конфликт гуманистического противостояния личности — Системе. Трагическое его разрешение в судьбе семьи Дрыновых, которая стала духовно-структурным центром произведения (в отличие от коллектива как альфы и омеги колхозной литературы), стало приговором “самому справедливому” общественному строю, позволяющему так страдать лучшему, что у него есть, — детям. Подобного изображения жизни русской деревни в литературе еще не было.

Но если драма крестьянства нашла свое выражение и в “Матренином дворе”, и в зальгинской повести “На Иртыше” (1964), и в можаевском “Живом”, появившемся спустя полгода после “Привычного дела”, то уникальность творческого опыта В.Белова состояла еще и в том, что писатель по-новому взглянул на структурную организацию художественного текста. Автор в произведении словно бы уходит в тень, оставляя за собой лишь функцию организации повествования о происходящих событиях и создания особой атмосферы нравственного равенства между собой и героями.

Привычное отчуждение автора и героя, определенная дистанция между автором и действительностью (как писал М.Бахтин, “реализм часто овеществляет человека, но это не есть приближение к нему”), являющиеся препятствиями для истинной объективности в повествовании о национальной жизни, удалось преодолеть опять-таки по-бахтински: “от субъекта языка к субъектам произведений”. Герой

у Белова обрел право выражения своего сознания через индивидуальную речь в ее национальной специфике; “Привычное дело” отличается особой художественной чуткостью и предельно бережным отношением писателя к народному языку.

То, как говорят в произведении Белова Иван Африканович, бабка Евстоля, старик Куров и другие персонажи, не является литературным образцом народной речи; здесь зазвучала подлинная языковая стихия народа. Автор очень бережно относится к речевой зоне героя, не вмешивается в нее и не комментирует ее, находя другие способы выражения своей точки зрения. Он не возвышается в своем авторском “всеведении” над героем, но и не умалется перед ним, его отношение к герою можно было бы, наверное, назвать объективной любовью.

Подобного — не внешнего, а “теплого”, глубинного общения литература еще не знала. На пересечении сознаний автора и его героев рождается правда национальной жизни, обусловленная тем, что единственным критерием художественной цельности произведения становится подлинность бытия народа. Этим повесть В.Белова и поражала своих читателей и критиков, равно друзей и недругов.

Постепенное последующее “истаивание” деревенской прозы, при очевидной исчерпанности ее идейного потенциала, связанного прежде всего со стремлением сказать всю правду о трагедии коллективизации и экологическом неблагополучии России (как в биологическом, так и нравственном плане), обусловлено, на наш взгляд, разрушением структурного ядра ее произведений, попытками писателей вырваться из-под влияния содержательно-структурной гармонии ради более полного

выражения авторского миропонимания. Равновесие между героем, представляющим действительность, и автором было нарушено в пользу последнего, и это стало очевидным уже в “Царь-рыбе”, “Последнем сроке”, “Прощании с Матерой”, “Пожаре”, не говоря уже о жанровой трансформации “Печального детектива” и “Все впереди”. На этом фоне еще больше осознается значимость “Привычного дела” В.Белова, являющегося началом и художественным манифестом деревенской прозы.

Сегодня, к сожалению, бытует мнение о не востребоваемости произведений деревенской прозы современным, тем более юным читателем. Так, в недавно опубликованной “Севером” статье Н.Переяслова утверждалось, что “прекрасная сама по себе литература В.Распутина, В.Крупина, В.Белова, В.Личутина и целого ряда других представителей этого литературного поколения способна сегодня резонировать с душами только тех читателей, которые выросли на тех же нравственных критериях, что проповедают и эти писатели”.

Однако учительская практика свидетельствует об ином. Полтора года тому назад девятиклассники одной из карельских школ делились своими впечатлениями о прочитанной ими повести В.Белова “Привычное дело”. Приведем краткие ответы на вопросы анкеты, которая проведена с целью выявления первоначального читательского восприятия накануне урока, и потому во влиянии учительского мнения заподозрена быть не может.

На вопрос “Понравилась ли вам повесть? Чем?” подавляющее большинство детей (а произведение было прочитано 17 из 23 учеников) ответили положительно,

аргументировав это тем, что “она рассказывает о верной и преданной любви мужчины и женщины, их взаимопонимании”, “печальными мгновениями, которые тронули сердце”, “красотой родной природы”, “искренностью, веселым народным юмором”, “смешными моментами и сценами”, изображением того, “как было тяжело и весело жить в деревне”, тем, что повествование о 60-х годах “перекликается с нашей теперешней жизнью”.

На вопрос “Было ли трудно читать произведение?” последовало признание об определенных трудностях в первой главе, когда еще непонятно, что Иван Африканович ведет такой живой диалог с мерином.

Среди запомнившихся сцен девятиклассники отметили практически все основные сюжетные моменты произведения (цитирую ответы детей): “разговор Ивана Африкановича с лошастью”, “сцена на бревнах и в сельсовете”, “поездка в Мурманск”, “встреча Катерины с Марусей”, “смерть Катерины”, “Иван Африканович над могилой Катерины”. Особо запомнилось, “как Катерина после родов побежала доить корову”, “Митька с Мишкой сдвинули баню”, “Иван Африканович бегал по деревне с дубиной”, “Мишка сцепился с начальством”, “Иван Африканович ходил на рыбалку”. Особый интерес вызвала глава о Рогуле.

Индивидуальность читательского восприятия соседствовала с удивительным эмоциональным единодушием. Конец повести вызвал у всех “печаль”, “сочувствие”, “горечь”, “жалость”, “умиление до слез”.

Кроме того, интересными были размышления детей над чувством Ивана Африкановича к жене (“чистая, искренняя, хоть и небрежная любовь”, “верность”,

“преданность”, “нежность”, “уважение”, “забота”, “доверие”), причиной смерти Катерины (“тяжелая и долгая работа”, “она надорвалась от переработки”), чертами народного характера в главном герое (“простота”, “доброта”, “человеколюбие”, “забота о других”, “любит выпить”, “любит работать”, “любит родную природу”, “беззаботность, наивность”, “широта души” и т.д.), характере его взаимоотношений с окружающим социальным миром (большинство отметило, что Иван Африканович смиряется со своим положением, остальные считали, что он оказывает противодействие системе).

Наиболее живые моменты обсуждения на уроке связаны с социальными условиями жизни деревни, которые дети соединили с конкретными примерами из истории своих семей, волновала детская тема в повести, заинтересовали разговорная речь персонажей, отношения главного героя с природой, лирическая и юмористическая тональность произведения. Особый отклик вызвало стихотворение Н.Рубцова, посвященное В.Белову, и детский режиссерский проект кинофильма по “Привычному делу”.

К сожалению, здесь невозможно передать атмосферу урока, но он тем не менее является убедительным доказательством, что повесть В.Белова востребована современным читателем, с интересом читается им, вызывает глубокое эмоциональное сопереживание, воспринимается как произведение, созвучное духовному опыту старшеклассников. Как, впрочем, происходит с любым значительным явлением в художественной культуре, с ее классикой, каковой, без сомнения, является “Привычное дело” В.Белова.

И.Н.ВЕЛЕСЛОВА

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ?

Когда проходит треть века с момента написания произведения, время высвечивает такие глубинные пласты его содержания, которые первым читателям и интерпретаторам были недоступны. Так, к примеру, самоочевидным выглядит сегодня обличительный пафос беловской повести, скорее угаданный цензурой в 60-е, нежели осознанный критикой. Благодарное присловье “привычное дело” в названии, а под ним — целый каталог человеческих трагедий. Геноцид, ставший “привычным делом”! И это в стране, которая вписала крестьянский серп в свою государственную геральдику! Трудно сказать, предполагал ли Василий Белов возможность столь саркастической интонации названия своей повести, однако в год юбилея ясно: “Привычное дело”, помимо почтенного контекста “деревенской прозы”, должно быть вписано в более широкий контекст русской обличительной литературы. И в этом ряду имя Белова занимает достойное место среди имен А.С.Пушкина, А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, а в XX веке — М.Горького, А.Платонова, И.Бунина, А.Ахматовой, А.Солженицына, М.Шолохова и других.

Удивительным — при столь мощном обличительном потенциале содержания — выглядит эпически ровный, подернутый лирической грустью тон повествования. Соглашусь с В.П.Крыловым в том, что одним из объяснений такого контраста пафоса и стиля может служить ориентация В.Белова на традицию русской эпики. Одним, однако не единственным. И, с моей точки зрения, не главным. Конечно, тихое слово сострадания воздействует на душу читателя зачастую сильнее, чем возгласы гнева и протеста. Однако почитатели таланта Белова прекрасно помнят, что автору “Воспитания по доктору Споку” и романа “Все впереди” совершенно не чужды и публицистические интонации, и обличительные интенции.

Мне кажется, что разоблачительный потенциал “Привычного дела” остался нереализованным в стиле и

сюжете еще и потому, что на растворенный в трагической истории крестьянской семьи вопрос — “Кто виноват?” — сам автор вряд ли смог бы ответить однозначно. Сегодня, в отличие от шестидесятых годов с их эйфорическими ожиданиями “социализма с человеческим лицом”, читатель и критик с горечью могут признать — виновата власть. Та самая, рабоче-крестьянская, которая и победила-то благодаря обещанию: “Кто был никем, тот станет всем!”, “Кто был никем, тот стал ничем”, — иронизирует один из современных поэтов, но его хлесткое словцо упредил 35 лет назад В.И.Белов, с пронзительной прямоотой показавший, чем в действительности стал “гордый внук славян” сто с лишком лет спустя после отмены крепостного права и через полвека после победы рабоче-крестьянской власти.

Возможен и другой ответ на “вечный” российский вопрос “кто виноват?”. Вряд ли бы он понравился Василию Белову. Не нравится он, признаюсь, и мне самой, потому что, как ни крути, отношу себя к той части отечественной интеллигенции, которая вышла из народа. (Лучше было бы сказать, пользуясь речением Л.Шубина, никогда из него и не выходила.) Тем не менее, решусь этот ответ обозначить, считая, что сегодня уместно и необходимо осознать все предпосылки крестьянской трагедии XX века.

“Мы не рабы, рабы не мы”, — эти жизнеутверждающие слова значились в букварях советской эпохи с первых ее десятилетий. Мое поколение еще скандировало их наряду с не менее оптимистичным — “мама мыла раму”. Так в процессе формирования национальной идентичности “рабство” и “материнство” теснейшим образом переплелись. Психологи и лингвисты знают о законе перцепции высказывания: все отрицательные частицы сознанием не улавливаются, воспринимается именно позитивно выраженная информация. “Мы” — (не) — рабы, рабы — (не) — мы”. Что это было: закливание веками закладывавшегося в национальном характере комплекса жертвы? Или, напротив, закрепление его? Беловская повесть буквально вопиет

сегодняшнему читателю о наличии некой родовой калечки в нашем национальном характере, которая не позволяет талантливому, доброму, деятельному народу веками подняться с колен. Горькие эти выводы вызывают в памяти горчайшие же пушкинские слова:

**Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.**

Повесть Василия Ивановича Белова, как мне кажется, достойна быть вписана в золотой фонд русской словесности еще и потому, что содержит в себе смелый, точный и выстраданный диагноз российской национальной болезни, имя которой — непреодоленный комплекс рабства. Уяснить этот диагноз тем важнее, что только с четкого осознания сути проблемы начинается ее преодоление. Особую благодарность испытываешь к Белову еще и за то, что докторское его освидетельствование совершалось с любовью, сочувствием и уважением к “пациенту”. “Не русский глянеть без любви”, глянеть и поглумится, крестьянский же сын Василий Белов сказал страшную правду и тут же утешил, как забинтовал: “Привычное дело”! Дескать, бывает, до свадьбы заживет.

Таким образом, повесть-юбилей Василия Белова может быть прочитана сегодня и как обличение неблагополучия в национальном характере, неблагополучия, замалчивание которого на руку не только его недоброжелателям.

**Я лег на сгибе бытия,
На полдороге к бездне, —
И вся история моя —
История болезни.**

**Вы огорчаться не должны —
Для вас покой полезней, —
Ведь вся история страны —
История болезни.**

(В.С. Высоцкий)

Н.В.КРЫЛОВА,
кандидат филологических наук

ОБЕССМЫСЛИВАНИЕ БЫТИЯ

“Привычное дело” Василия Белова — повесть об отчуждении хлебопашца от земли, от родины, от дома, от семьи. Это явление в послевоенные годы обрело мировой характер и отразилось в европейской и американской литературе. Что же касается советской прозы, то она обходила за версту тему отчуждения и предпочитала рисовать единение усилий социалистического государства и ударников коллективного труда. Василий Белов в своей повести вскрыл безжалостность вертикально-централизованной административно-бюрократической системы и показал обреченность маленького человека, на свою беду сохранившего в душе любовь и милосердие к земле, желание ее обрабатывать и обихаживать, как это делали предки тысячу лет.

Ставший непреложным после публикации “Привычного дела” факт, что нет мира под березами в русской колхозной деревне, явился откровением не только для советского, но и для зарубежного читателя. Появились переводы “Привычного дела” на французский (Париж, 1969), польский (Варшава, 1971), чешский (Прага, 1972), немецкий (Берлин, 1978), словацкий (Братислава, 1979), шведский (Сток-

гольм, 1980) языки. Финские читатели смогли ознакомиться с повестью в переводе В. Левянен (“Пуналиппу” 1979, № 8). В последующие десятилетия география переводных изданий еще более расширилась. Вызвав в русской прозе появление целой плеяды “деревенщиков”, повесть оказала заметное влияние не только на развитие советской литературы, но и стала частью мирового литературного процесса, в котором тема отчуждения человека, жизнь без нравственных ценностей и религиозной веры вышла на первый план по мере развития тенденций глобализма.

“Интимные отношения человека и земли, необходимые для успешного дела, давно нарушены, — писал В. Белов в книге “Ремесло отчуждения” (М., 1988). — Отчуждение коснулось и других, непроектных сторон жизни... Отчуждение — признак современности. Но все виды этого отчуждения начинались с отчуждения от земли”. Эти слова звучат особенно злободневно после принятия в 2001 году Государственной Думой Земельного кодекса. Смогут ли современный Иван Африканович, обремененный многочисленной семьей, купить землю и обрести свободу воли? Или “привычным делом” вчерашнего колхозника будет поденная работа у богатого фермера? Произойдет ли возвращение к традициям и верованиям,

необходимым для выживания русской цивилизации? Или уже навсегда утрачен обычай воспроизводить в поколениях систему национальных ценностей?

Эти вопросы, поставленные тридцать пять лет назад в повести “Привычное дело”, выводят обсуждение художественного произведения далеко за литературоведческие рамки и обретают особое значение в наши дни, когда Россия переживает острое чувство утраты исторического лидерства.

По публикациям либеральной печати создается впечатление, что крестьянское по своей родословной население России только и мечтает о скорейшем переходе к свободному рынку как к панацее от всех бед. Но, как пишет Василий Белов в очерках о народной эстетике “Лад”, “стихия народной жизни необъятна и ни с чем не соизмерима. Постичь ее до конца никому не удавалось и, будем надеяться, никогда не удастся”.

Ю. И. ДЮЖЕВ,
доктор филологических наук

ЗАКОН ОРГАНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Повесть “Привычное дело”, сердечно принятая в России, скоро в переводах разошлась по всему миру и стала знаменитой. Для автора она оказалась зерном, из ко-

торого выросли все последующие творения, встреченные не всеми столь радушно, потому что давали уже более широкую и сложную картину народной жизни, государственного строительства.

Язык повести — трагического повествования — прозрачен, выразителен и, что особенно важно, гармоничен, диалектизмы только

подчеркивают, оттеняют эти качества. Такого воплощения народной трагедии в гармоничной народной речи после И. С. Шмелева добивался Александр Твардовский в “Василии Теркине” да вот Василий Белов... Очень жаль: у большинства читателей, особенно молодых, традиционное русское слово — в пренебреже-

нии, им ближе иностранная да так называемая ненормативная лексика. Новым поколениям писателей — тоже, один из них, модный ныне, высказался по радио: ему нравится, когда девушки пользуются этой самой ненормативной лексикой со знанием дела...

По современному же пониманию — искусство есть самовыражение, художник, самовыражаясь, испытывает наслаждение. Тем самым признается: творчество — психофизиологический процесс, не поднимающийся выше границы между душевным и духовным, а плоды его приземлены, натуралистичны, может быть, даже подчеркнута безыдеальны.

Лиризм повести Белова совсем иного рода: тут в малой степени авторское самовыражение, в большей — проникновенное раскрытие переживаний героев, авторское присутствие сказывается во внимании и любви к своим героям. Видно, природа таланта Белова эпическая, а не лирическая, это приоткрылось в “Привычном деле” и проявилось вполне в “Канунах”. Лирические его рассказы и миниатюры (“Бобришный угор”, “Весенняя ночь”, “Холмы” и др.) богаты осмысленным чувством и прочувствованной мыслью, но автор как бы все следит за собой, не доверяет самовыражению, нет-нет да и заметит: “Опять, как вечер на сентиментальности, я поймал себя на философствовании”. Поэтому, наверно, впоследствии он свои личные боль и гнев облекал в строгую объективную форму статьи или очерка (“Раздумья на родине”, “Ремесло отчуждения”).

Итак, лиризм “Привычного дела” — в заинтересованном раскрытии душевных переживаний (и духовных, насколько они есть) героев (вплоть до Рогули), их характеров, а не самого автора. Характер Катерины, любящей до самоотвержения русской женщины, целен и ясен. А вот Иван Африканович, хотя ему больше все-

го уделено внимания, в восприятии читателя двоится: он, в сущности, добр, но бывает вспыльчив и жесток, в крестьянском своем обиходе работоспособен и изобретателен, а сразу же за его пределами удивительно пассивен. Непоследовательности и нелогичности характера списывать только на матушку-природу нельзя. Этот тип русского человека принял на себя и в себя очень много противоречивых воздействий и влияний в разные эпохи. Разновременные и разноплановые душевные приобретения, вольные и невольные, не сложились стройно вокруг единого центра личности, существовали как бы независимо. Да и вся жизнь деревни представляла механическое соединение несоединимого.

Вот пример. Катерина хотела бы позвать мужа помочь ей на скотном дворе, да нельзя: деревня засмеет мужика, занявшегося бабьим делом. Предрассудок? Да, предрассудок. Однако мудро сказал Баратынский: “Предрассудок! он обломок давней правды”. За многие века сложилось в деревне разделение мужского и женского труда — по нужности и силам тех и других. На мужских плечах лежало самое трудное — пахота. В последние времена власть имущие нарушили традиционный уклад, значительная доля, едва ли не значительнейшая, материальных забот о семье оказалась переложеной на женщину.

И так — во всем. Семья еще скорее по инстинкту, по унаследованному ходу вещей сохраняла крестьянско-христианское тепло, взаимную любовь. Коренная ломка общественных условий все более затрагивала деревню, рассудочные властные перестройки вторгались в новую жизнь вплоть до интимных ее сторон, искажая органическое ее развитие, разрушая даже вновь отстоявшийся быт после очередной реформы. Стоит ли удивляться, что истаивало семейное

тепло, личное добро, гибли люди... Но еще долго-долго у героев Белова сохранялись в слове и душах, особенно в горе и бедах, обращения ко Христу, Божьей Матери — теплилась неподдерживаемая почти ничем извне вера, чаще у женщин, особенно у пожилых. Вера, так сродная русской душе, — факт, с духовной и художественной силой удостоверенный И.С.Шмелевым.

Противоречивым влияниям, сбивавшим с толку человека, в прошлом могла противостоять единая у всех вера: в ней одной отдыхала, умиралась душа, собиралась в себе, находила единение с другими, разумение жизни. Но герой Белова воспринял многое от нового времени. В минуту полной душевной радости меняет старинную, от дедов и прадедов, Библию на гармонь... Его тревожит, не утоляя тревоги, небесное, ему понятнее, ближе, роднее земное. Утратив старую веру и не укоренившись в новой атеистической, Иван Африканович открыт всем внешним поветриям, как бы лишен своей воли. В его жизни остался последний и единственный центр и душевный оплот — Катерина, любовь к ней. После смерти жены сознает: “потерялось в жизни что-то самое нужное, без чего жить нельзя...”

Нет ничего рабского в Иване Африкановиче, он растерян, а потом и опустошен духовно и душевно. Наша образованщина (воспользуюсь словом А.И. Солженицына), находясь в рабстве западных либеральных либо революционных учений, расшатала народную веру, а расшатав, и вовсе лишили Ивана Африкановича веры, вместе с ней цельности душевной, решительности и понимания хода событий. Такое состояние человека никак не способствует плодотворной деятельности, созданию общественных ценностей.

Ценности, имеющие мировое значение, называют общечеловеческими. Понятие это говорит об

отвлеченном, включает в себе самые общие, то есть малосодержательные, черты разных культур, цивилизаций, конструирует то, чего в реальности нет. Чтобы избежать такой отвлеченности, нереальности идеала, в понятие общечеловечности давно уже вкладывают — логически незаконно — ценности одной западной цивилизации, подавляющей все другие (пресловутый глобализм).

Наши славянофилы А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, потом Н.Я.Данилевский, Ф.М.Достоевский и близкие к ним по духу пользовались другим термином: “всечеловечность”, всечеловеческие ценности. Подразумевалось равноценность, равноправие самобыт-

ных цивилизаций, очень разных, дополняющих друг друга. Признавалась полнота органичного развития человечества — без принуждения и утеснения одних другими.

В 70—80-х годах теперь уже прошлого века я встречался со многими писателями-деревенщиками, большинство из них оставалось или равнодушными, или даже враждебными учению славянофилов. Один воронежский поэт сказал мне: “Зачем ты поднимаешь эту гниль?” Советское образование обрабатывало сознание до таких крайностей. Тем разительнее художественная практика: как и Белов, они, каждый в свою меру, отстаивали с крестьян-

скими ценностями — христианские, отстаивали органическое развитие России. Познание истории сердечное противоречило рассудочному образованию, подчиняло рассудок сердцу. Писатели исповедовали на деле, в своих созданиях, дух славянофильского мировоззрения, хотя многие плохо знали или вовсе не знали буквы этого мировоззрения.

Таков закон органического развития. И жизни, и искусства.

И.К.РОГОЩЕНКОВ

□

